



Карина
Добротворская

Кто-нибудь видал мою девчонку?

СЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

100 писем к Сереже

Карина Добротворская

Кто-нибудь видел мою

девчонку? 100 писем к Сереже

Серия «Очень личные истории»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25357008

*Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже / Карина
Добротворская: АСТ, Редакция Елены Шубиной; Москва;
ISBN 978-5-17-115170-6*

Аннотация

Они считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых — кинокритик и сценарист Сергей Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая романтическая история обернулась жестким триллером. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. В автобиографической книге «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карина Добротворская обращается к адресату, которого давно нет в живых, пытается договорить то, что еще ни разу не было сказано. Хотя книга написана в эпистолярном жанре, ее легко представить в виде захватывающего киномана из жизни двух петербургских интеллектуалов, где в каждом кадре присутствует время.

*[style=font-size:80%]Сергей Николаевич, главный редактор
журнала «СНОБ»[/style]*

Содержание

1	8
2	11
3	15
4	17
5	22
6	28
7	30
8	32
9	34
10	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Карина Добротворская

Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже

*Любить больно. Будто дала позволение
освежевать себя, зная, что тот, другой, может в
любую минуту удалиться с твоей кожей.
Сьюзен Зонтаг. “Дневники”*

*Когда гроб опускали в могилу, жена даже
крикнула: “Пустите меня к нему!”, но в могилу за
мужем не пошла...
А. П. Чехов. “Оратор”*

Семнадцать лет назад, в ночь с 26 на 27 августа 1997 года, умер Сергей Добротворский. К тому моменту мы уже два месяца были в разводе. Таким образом, я не стала его вдовой и даже не присутствовала на похоронах.

Мы прожили с ним шесть лет. Сумасшедших, счастливых, легких, невыносимых лет. Так случилось, что эти годы оказались самыми главными в моей жизни. Любовь к нему, которую я оборвала, – самой сильной любовью. А его смерть – и моей смертью, как бы пафосно это ни звучало.

За эти семнадцать лет не было ни дня, чтобы я с ним не

разговаривала. Первый год прошел в полусознательном состоянии. Джоан Дидион в книге “Год магических мыслей” описала невозможность разорвать связь с умершими любимыми, их физически осязаемое присутствие рядом. Она – как и моя мама после папиной смерти – не могла отдать ботинки умершего мужа: ну как же, ему ведь будет не в чем ходить, если он вернется, – а он непременно вернется.

Постепенно острая боль отступила – или я просто научилась с ней жить. Боль ушла, а он остался со мной. Я обсуждала с ним новые и старые фильмы, задавала ему вопросы о работе, хвасталась своей карьерой, сплетничала про знакомых и незнакомых, рассказывала о своих путешествиях, воскрешала его в повторяющихся снах.

С ним я не долюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила. После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри – застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого больше не было.

Я так свыклась с этой макабрической связью, с этой Хиросимой, моей любовью, с жизнью, в которой прошлое важнее настоящего, что почти не задумывалась о том, что жизнь может быть совсем другой. И что я снова могу быть живой. И – страшно подумать – счастливой.

А потом я влюбилась. Началось это как легкое увлече-

ние. Ничего серьезного, просто чистая радость. Но странным образом это невесомое чувство, ни на что в моей душе не претендующее, вдруг открыло в ней какие-то шлюзы, откуда хлынуло то, что копилось годами. Хлынули слезы, неожиданно горячие. Хлынуло счастье, перемешанное с несчастьем. И во мне тихо, как мышь, заскреблась мысль: а вдруг он, мертвый, меня отпустит? Вдруг позволит жить настоящим?

Годами я говорила с ним. Теперь я стала писать ему письма. Заново, шаг за шагом, проживая нашу с ним жизнь, так крепко меня держащую.

Мы жили на улице Правды. Нашей с ним правды. В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка литературы, где многое искажено памятью или создано воображением. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский – и моя правда.

Цитаты без ссылок взяты из статей и лекций Сергея Добротворского.

Автор рисунков и стихов – Сергей Добротворский.

8 января 2013

Привет! Почему у меня не осталось твоих писем? Сохранились только несколько листков с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными рукотворным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже написанных большими полупечатными буквами. Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего почерка. Ни мейлов, ни смс – ничего тогда не было. Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке – первый (286-й) компьютер появился у нас только спустя два года после того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский “Коммерсант” с поездом.

Почему мы не писали друг другу писем? Просто потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал в Англию – это случилось, наверное, через месяц или два после того, как мы поженились. Тебя не было совсем недолго – максимум две недели. Не помню, как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы жили тогда в большой квартире на 2-й Советской,

которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще ты был без меня в Америке – долго, почти два месяца. Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь всё это время? Или в этом не было такой уж безумной потребности? Разлука была неизбежной данностью, и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.

Самое длинное твое письмо занимало максимум полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз “замершая беременность”. Письмо исчезло в моих переездах, но я запомнила одну строчку: “Мы все держим за тебя кулаки – обе мамочки и я”.

Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели на кухне, пили черный чай из огромных кружек или кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться. Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду, но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?

Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый аффектированный смех, твоя рок-н-рольная пластика, твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина, на которого, конечно, был похож: “актер-неврастеник с капризным детским ртом и печальными старческими глазами”.) Когда ты

выходил из нашего домашнего пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо было постоянно что-то доказывать, и прежде всего – собственную состоятельность. Мир был большой – ты был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического воздействия на людей, который заставляет забыть о невысоком росте: “Крошка Цахес”, “Парфюмер”, “Мертвая зона”. Ты тоже умел завораживать. Любил окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил, когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных в тебя студентов. Многие из твоих друзей обращались к тебе на “вы” (ты к ним тоже). Многие называли по отчеству.

Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался мне очень красивым. Особенно дома, где ты был соразмерен пространству.

А в постели между нами и вовсе не было разницы в росте.

22 января 2013

Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма новой волны, из какого-нибудь “Жюля и Джима”.

Я, студентка театрального института, стою со своими сокурсницами на переходе у набережной Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив меня, на другой стороне дороги – невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня волосы до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные. Зеленый свет – мы начинаем движение навстречу друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая походка. Едва ли ты один – вокруг тебя на Моховой всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза. Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:

– Это кто?

– Ты что! Это же Сергей Добротворский!

А, Сергей Добротворский. Тот самый.

Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный критик, са-

мый одаренный аспирант, золотой мальчик, любимец Нины Александровны Рабинянц, моей и твоей преподавательницы, которую ты обожал за ахматовскую красоту и за умение самые путанные мысли приводить к простой формуле. Тебя с восторженным придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты написал диплом об опальном Вайде и польском кино. Ты – режиссер собственной театральной студии, которая называется “На подоконнике”. Там, в этой студии на Моховой, в двух шагах от Театрального института (так написано в билете), занимаются несколько моих друзей – однокурсник Леня Попов, подруга Ануш Варданян, университетский вундеркинд Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков, Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошибается мой будущий лютый враг и твой близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).

Мои друзья одержимы тобой и твоим “Подоконником”. Мне, презиращей подобного рода камлания, они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных архивах, близоруко шурюсь, иногда ношу очки в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко запутана в отношениях с безработным философом, мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает меня ревностью и проклинает всё, что так или иначе уведит меня из мира чистого разума (читай – от него). А теат-

ральный институт уводит – каждый день. (Недаром театр на моем любимом сербском – “позорище”, а актер – “глумец”.)

Театральный институт был тогда, как сказали бы сейчас, местом силы. Это были его последние золотые дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя жить ему оставалось недолго, несколько месяцев. Ты называл его смерть счастливой – он умер мгновенно (про смерть говорят “скоропостижно”, больше ведь ни про что так не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда включился зеленый свет, а его знаменитый “мерседес” не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова за рулем старой белой “волги” в фильме с невыносимым названием “Продлись, продлись, очарованье” – под тогдашний истерически-бодрый хит Валерия Леонтьева “Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный”.

Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом “Братьев Карамазовых” – Петя Семак, Лика Неволлина, Максим Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто останавливал на институтских лестницах, задавал вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал Додин и именно тогда выпустил “Братьев и сестер”, на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги были еще живы – студентки-те-

атроведки млели от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали эротические флюиды. Студенты-актеры носились со своими невоплощенными талантами и неясным будущим (про самых ярких говорили: “Какая прекрасная фактура!”); студентки-художницы носили длинные юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру одеваться “магазином Ганг”); студенты-режиссеры вели беседы о Бруке и Арто в институтской столовой за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр, и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что я запуталась) были еще полны жизни и притягивали одаренных и страстных людей.

Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся. Через несколько лет все запоют: “Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я”. Мне показалось, что ты посмотрел на меня почти презрительно. При твоём маленьком росте – сверху вниз.

Ты потом говорил мне, что не помнишь этой встречи – и что вообще увидел меня совсем не там и не тогда.

26 марта 2013

Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной. Я ходила на выставку “Дэвид Боуи” в лондонском музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку проскочила почти по касательной, не в силах впустить в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать слезы (увы, безуспешно).

И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи и сам был похож на Боуи. “Хрупкий мутант с кроличьими глазами” – так ты его однажды назвал. И не в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том, что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин, который ты называл городом-призраком, исполненным пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь Боуи была бесконечной попыткой превращения себя в персонаж, а жизни – в театр. Сбежать, спрятаться, изобре-

сти себя заново, обмануть всех, закрыться маской.

Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней давности. “Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество”.

Помню, как ты любовался его разноцветными глазами. Называл его божественным андрогином. Как восхищался его персонажем – ледяной белокурой бестией – в умозрительном и статичном фильме Осимы “Счастливого Рождества, мистер Лоуренс”, который ты любил за нечеловеческую красоту двух главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй Боуи с Катрин Денев в “Голоде” – едва ли не самый прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня всё это не слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю: “Кинематограф так и не уловил закон, по которому живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает, может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает тени даже в ослепительном луче кинопроектора”.

Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы? Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую реальность – и как-то живет со своим виртуальным мифом.

А ты умер.

29 марта 2013

Сегодня так скучаю по тебе! Рылась в сети – вдруг найдется что-то, что я о тебе совсем не знаю? Разыскала письма Леньки Попова, блестящего театрального критика, одного из тех, кто называл тебя учителем. (Вот привычно написала “Ленька” и вспомнила, что Попов всегда страстно защищал букву “ё”. Так что – все-таки – Лёнька.) Он умер через два года после тебя – от лейкемии. Говорят, накануне смерти он просил театральную афишу – был уверен, что к концу недели сможет пойти в театр. Ему было тридцать три, меньше, чем тебе на момент твоей смерти. Он умер так нелепо, так рано. Почему? Он не убегал от себя (ты писал, что романтический герой всегда бежит от самого себя, а значит – по кругу), не осмыслял свой обожаемый театр как трагический медиум. Хотя что я о нем знала?

Лёнькины письма я тогда пропустила. Я столько лет после твоей смерти жила как сомнамбула – и так много всего мимо меня проскользнуло. В одном письме Лёнька пишет своему другу Мише Эпштейну, это 1986 год: “Мишка, ты видел этого человека?! Ну так что тут говорить? Говорить

ли о том, какое счастье с ним работать, общаться с ним и вообще?.. Если он далеко не бездарный актер, гениальный организатор (это половина режиссерского успеха), великий педагог, непревзойденный рассказчик, собеседник и собутыльник, большой знаток современного искусства, философии, музыки – ну что там перечислять все его достоинства? После встречи с ним мы встречались с Трофименковым где-нибудь около полугода и не могли говорить ни о чем, кроме как о нем”.

Кажется, именно Лёнька, твой фанатичный студиец, затащил меня на премьеру пьесы Воннегута “С днем рождения, Ванда Джун!” в твоём театре-студии “На подоконнике”. А может быть, меня позвала Ануш, подруга первого года моей институтской жизни. По-армянски яркая Ануш носила смелые малиновые штаны из плащевки, которые я одалживала у нее в решающие моменты, и играла в “Ванде Джун” главную женскую роль. Ты потом не раз говорил мне, что режиссер должен быть влюблен в свою актрису, и, думаю, был немного влюблен в Ануш. Шла я на этот спектакль неохотно, ничего хорошего не ожидая. Я испытывала инстинктивное отторжение от всякой любительщины – от параллельного кино до подпольного театра. Меня миновал эйфорический этап группового единения, который, наверное, нужно пройти в молодости. Я ведь рассказывала тебе, что в детстве ревели от ужаса на демонстрациях, всегда боялась толпы и так и не полюбила большие компании. “Всякая стадность – при-

бежище неодаренности”, – цитировала я Пастернака. И до сих пор отовсюду сбегая. То есть у меня даже получается веселиться, особенно если я выпью много шампанского, но быстро наступает момент, когда мне надо тихо исчезнуть.

Когда мы были вместе, ты всегда уходил со мной. А когда ты был без меня, ты оставался?

Твой спектакль “Ванда Джун” играли летом восемьдесят пятого года. Значит, мне было девятнадцать лет – как и Трофименкову, и Попову, и Ануш. А тебе – целых двадцать семь. Ну вот, а ты казался мне таким взрослым, несмотря на твой мальчишеский облик.

Мне выдали отпечатанную на ксероксе программку, из которой я узнала, что ты нарисовал ее сам. И что сам будешь играть одну из ролей – повешенного майора-нациста, явившегося с того света. А костюмы сделаны Катериной Добровторской – кажется, именно так я впервые узнала, что у тебя есть жена.

Жену мне показали – по-моему, она тоже появилась в спектакле в маленькой роли. Но на сцене я ее не запомнила. Меня поразило, какая она высокая – выше меня – и гораздо выше тебя. Смуглая, худая, с хрипловатым голосом, слегка восточным лицом и глазами без блеска.

Из того, что происходило на сцене, мне не понравилось ничего. Заумный текст, деревянная Ануш, еще какие-то люди, аляповато раскрашенные. Мне было неловко смотреть на сцену. Лёнька Попов в одном из писем писал, что процесс

увлекал вас больше, чем результат. Мне теперь так стыдно, что я никогда не говорила с тобой об этой студии, об этом спектакле, отмахнулась от них, как от дилетантской ерунды. Ты, с твоим самолюбием, зная мое отношение, тоже об этом не вспоминал. Я вычеркнула целый – такой огромный – театральный кусок из твоей жизни. Считала его недостойным тебя? Ревновала к прошлому, где меня не было? Была равнодушна ко всему, что меня непосредственно не касалось? Или – как всегда – боялась любого подполья, чувствуя опасность, понимая, что мне там не место, что там ты ускользаешь от меня – и туда в конце концов и уйдешь? Я так хотела бы сейчас сесть с тобой на кухне над кружкой крутого черного чая (на твоей любимой кружке была эмблема Бэтмена) и всё-всё у тебя выпросить. Как вы нашли эту студию? Почему решили делать Воннегута? Почему выбрали такую нудную пьесу? И как это подвальное помещение отнимали, и как ты бегал сражаться за него по обкомам и пытался очаровать теток с халами на голове (я узнала об этом только из твоих коротких писем Лёньке Попову в армию). И правда ли, что ты был влюблен в Ануш? А отдал бы ты эту роль мне, если б я пришла вместе с ней в вашу студию “На подоконнике”? И как вы на этом подоконнике проводили дни и ночи? Все, конечно, смотрели на тебя восторженными глазами, открыв рот? А ты раздувался от гордости и был счастлив? Ничего никогда я так и не спросила, по-свински редактируя твою жизнь, которая в мою схему не укладывалась.

Да, всё в этой подвальной студии (довольно большой и даже неожиданно светлой) показалось мне тоскливым и бессмысленным. Всё, кроме тебя. Ты появился в черной рубашке, залитый кровью, с выбеленным и раскрашенным лицом, как на Хэллоуин, в женских сапогах и с игрушечной обезьянкой в руке. Демонический грим был не страшен, а смешон, но мне почему-то было не смешно. Сейчас я уверена, что ты рисовал свой грим с Боуи, но тогда я едва ли знала, кто это такой. Энергия, исходящая от тебя, была такой сильной, что у меня мурашки по коже пошли. Я вспомнила твой острый взгляд тогда, на Фонтанке. Когда ты выходил на сцену, я тоже остро чувствовала твое физическое присутствие.

Я всегда верила только в результат, меня не волновал процесс. Я не признавала гениев, пока не убеждалась, что они создали нечто и впрямь гениальное. С этого спектакля я вышла с ощущением, что посмотрела ерунду, созданную выдающимся человеком.

Прости, что я никогда тебе этого так и не сказала.

30 марта 2013

Я много лет о тебе ни с кем не говорила. Ни с кем. Я могла тебя процитировать или вспомнить одну из твоих блестящих реплик. Но говорить о тебе – нет, не могла. Было слишком больно. Возникало ощущение, что тем самым я тебя предаю. Или с кем-то делю. Даже если твои родители произносили что-то вроде “А вот Сережка бы, наверное, сейчас...” – я молчала в ответ.

И вдруг – я заговорила. С удивлением обнаружила, что не только не чувствую боли, произнося твое имя или странное словосочетание “мой первый муж”, но даже получаю от этого удовольствие. Что это? Почему? Потому ли, что я стала тебе (и о тебе) писать, понемногу выпуская своих демонов? Или потому, что я влюбилась?

Сегодня я видела Таню Москвину – впервые за много лет. Вы вместе учились в институте, ты восхищался мощью ее критического дара и способностью ничего и никого не бояться. Танька всегда резала правду-матку, была иррациональна, пристрастна и явно страдала от того, что ее тонкая душа помещена в несообразно большое тело (ты наверняка так же

страдал от своих “карманных” размеров). Однажды, когда мой сын Иван был еще совсем маленьким, Москвина пришла ко мне в гости. Иван внимательно посмотрел на ее яркое асимметричное лицо. Она, как и я, перенесла в юности неврит лицевого нерва. Когда меня в восемнадцать лет привезли с наполовину парализованным лицом в больницу, медсестра, записывая мои данные, спросила: “Работаете, учитесь?”. – “Учусь в театральном институте, на театроведческом факультете”. – “Слава богу, что на театроведческом. Актрисы-то из вас теперь не выйдет, с таким-то лицом”. Что из меня теперь не выйдет красивой женщины и что это для меня куда большая драма, ее не занимало.

– А почему у тебя один глаз меньше другого? – поинтересовался Иван у Москвиной.

– Сейчас я как дам тебе в глаз, и у тебя будет то же самое, – немедленно парировала Танька. То, что такое обычно не говорят маленьким детям, ей и в голову не приходило. Так она жила – ни в чем никаких ограничений. Ты свою бунтарскую природу мучительно укрощал, к тому же был деликатен и не любил задевать людей. А Танька позволяла себе всегда и во всем быть собой и ничего не делать наполовину. Если бутылка водки – то до дна. Если страсть – то до победного конца. Если ненависть – то до самых печенок. Она умела быть так упоительно свободной и так одержимо неправой, что ты немного ей завидовал. Она тебе всегда отдавала должное, как будто ваша группа крови, замешанная на питерском

патриотизме, была одинаковой.

Сегодня Москвина рассказала мне, как ты впервые показал ей меня – в библиотеке Зубовского института на Исаакиевской, 5, куда вы с ней два раза в неделю ходили в присутствие.

– Смотри, какая девушка, – гордо сказал ты. – Это Карина Закс. Она очень интересуется рок-культурой.

– А наш роман уже начался тогда? – спросила я Таню.

– Кажется, нет. Но он уже явно был влюблен. Ну да, рок-культура, конечно. На третьем году обучения я написала курсовую работу под названием “Над пропастью во ржи”. Тогда было модно рассуждать про молодежную культуру. Альтернативную молодежь, разными способами выказывающую презрение к обществу, почему-то называли системой, а мохнатых татуированных юношей, которые скандировали “Мы вместе!” на концертах “Алисы”, – системщиками (сейчас системой называют тех, кто группируется вокруг власти и денег, а системщиками – тех, кто приводит в порядок компьютеры). “Мир, как мы его знали, подходит к концу”, – с особым ленинградским придыханием пел Гребенщиков, закидывая голову и закрывая глаза. Он был первым рокером, чью кассету я слушала по десять раз на дню, еще не зная, как он золотоволос и хорош собой. Ленинградский рок-клуб, погружавший нас в сексуальный экстаз, латышская картина “Легко ли быть молодым?”, Цой, похожий на Маугли и всегда одетый в черное, бешеный Кинчев с подведенными

глазами в фильме “Взломщик”, передачи “Взгляд” и “Музыкальный ринг” на ленинградском телевидении, где взрослые дяди снисходительно пытались разобраться с неформалами и как-то отформатировать рокеров (легче всего этому форматированию поддавался, конечно, БГ, которому на любые системы всегда было наплевать). Я написала страстную курсовую от первого лица, где мой папа высказывал пошло-примирительные идеи старшего поколения, где институтские гардеробщицы ругали мерзкую волосатую молодежь и где цитаты из “Аквариума”, “Алисы” и шинкаревских “Митьков” иллюстрировали мои наивные мысли о духовной свободе. Эта захлебывающаяся студенческая работа понравилась руководительнице критического семинара Татьяне Марченко. Она показала ее Якову Борисовичу Иоскевичу, который вместе с тобой делал сборник статей о молодежной культуре. Меня вызвали на Исаакиевскую – на встречу с вами обоими. Я готовилась к этой встрече, безжалостно завивала длинные волосы горячими щипцами, румянила щеки ватой, густо красила ресницы (тушь надо было развести слюной) и слоями накладывала тональный крем. Зачем я это делала – понятия не имею, моя кожа была идеально гладкой и косметики не требовала. Но мне с детства казалось, что можно быть лучше, красивей, хотелось преодолеть разрыв между тем, какой я была на самом деле и какой могла бы быть, если б... Если б что? Ну хотя бы волосы были кудрявей, глаза больше, а щеки румяней. Как будто, намазывая

лицо тональником (продукт совместного творчества *L'Oreal* и фабрики “Свобода”, конечно же, неправильного оттенка, куда темнее, чем требовался моей бледной коже), я пряталась под маской. При этом я надела джинсы с шестью молниями – молодежная культура все-таки. Не жук чихнул.

Я была уверена, что ты будешь меня хвалить, ведь не каждую студентку третьего курса собираются печатать во взрослом научном сборнике. Ты вошел на кафедру, смерил меня ледяным взглядом (я спросила себя, помнишь ли ты нашу встречу на Фонтанке) и высокомерно сказал:

– Я не поклонник такого стиля письма, как ваш.

Я молчала. Да и что можно было ответить? Я-то считала, что написала нечто и вправду классное. И вообще, не я сюда напросилась, вы меня позвали.

– Вы пишете очень по-женски, истерично и эмоционально. Очень сопливо. Много штампов. И к тому же это надо будет в два раза сократить, – произнося всё это, ты почти на меня не смотрел. Ты потом говорил мне: “Ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся”.

Я продолжала молчать. В этот момент на кафедру вошел Яков Борисович.

– А, так это вы – та самая Карина? Прекрасная работа, прекрасная. Очень украсит наш сборник – написано так страстно и с такой личной интонацией.

Помню, что я испытала благодарность ему и обиду на те-

бя, который в этот момент равнодушно смотрел в окно.

Текст я действительно сократила вдвое. Но не убрала из концовки своего отца с его репликами из репертуара тогдашних “папиков” (“папиным” в то время называли не только кино). Тебе этот финал казался глупым, а мне – принципиальным, потому что мне хотелось сохранить эту личную интонацию. Обида долго не проходила, я не могла забыть, как ты со мной обошелся. С тех пор мне казалось, что ты продолжаешь меня презирать, и, когда я где-то встречала тебя, я как будто слышала твой голос: “Я не поклонник такого стиля...” И бурчала себе под нос: “Ну а я не поклонник вашего интеллектуального занудства”.

Но цену этому занудству я уже начала понимать.

31 марта 2013

Привет! Я начинаю письмо и теряюсь – как мне к тебе обращаться? Я никогда не называла тебя Сережей или Сережкой. И уж точно никогда не говорила – Сергей. Когда ты читал у нас лекции, я могла обратиться к тебе “Сергей Николаевич”. Впрочем, едва ли; скорее всего, я избегала имени, потому что уже понимала, что между нами существует пространство, где отчество не предполагается. Я никогда не обращалась к тебе по фамилии, хотя другие твои девушки – до меня – это делали. Твоя первая жена Катя называла тебя “Добским” – меня всегда передергивало от этого собачьего имени. А может быть, просто от ревности.

До меня только недавно дошло, что никого из своих любимых мужчин я не могла называть по имени, словно боясь коснуться чего-то очень сокровенного. И меня никто из них не называл в глаза Кариной, всегда придумывались какие-то нежные или забавные прозвища. Но когда все-таки называли, то это задевало меня как что-то почти стыдное. А может, мне просто были необходимы имена, которые были бы только нашими, – никем не истрепанные.

Когда мы начали жить вместе, то довольно скоро стали называть друг друга Иванами. Почему Иванами?

Ужасно жаль, я совсем не помню. Не помню, как и когда это имя пробралось в наш словарь. Зато помню все его модификации – Иванчик, Ванька, Ванёк, Ванюшка, Иванидзе. Всегда в мужском роде. И помню, как мы однажды стали смеяться, когда я впервые назвала тебя Иваном в постели. Ты ведь не любил говорить в постели? И еще помню, как твоя мама, Елена Яковлевна, ревела в телефонную трубку:

– Ты ведь сына Иваном назвала, да? В честь Сережки?

Это было в тот день, когда я узнала о твоей смерти.

2 апреля 2013

Когда я влюбилась в тебя? Сейчас мне кажется, что я влюбилась с первого взгляда. И что каждая следующая встреча была особенной. На самом деле в то время я была влюблена в другого, чью систему ценностей безоговорочно принимала. Я тебя остро чувствовала, это безусловно. Но прошло еще несколько лет, прежде чем я осознала, что это любовь.

Случилось это, когда ты читал у нас лекции по истории кино, подменяя Якова Борисовича Иоскевича. Я училась на последнем курсе, значит, мне было года двадцать два. А тебе, соответственно, – тридцать, вполне серьезный возраст. Лекции Иоскевича нам нравились, но казались уж слишком заумными. Когда вместо него пришел ты и сказал, что Яков Борисович заболел и что ты проведешь несколько занятий, мы обрадовались.

Ты нас ошеломил – как ошеломлял всех своих студентов. Нервной красотой, завораживающей пластикой рук, необычным сочетанием развинченности и собранности, энергией, эрудицией. Нам казалось, что ты перебрал по крошечным кубикам всю историю кино и выстроил ее заново по собствен-

ным законам. Первая твоя лекция длилась часа три, но никто не устал и не отвлекся. “Прежде чем научить, надо влюбить в себя. Иначе не получается. То есть получается, но как бы не до конца, вполовину, за вычетом любви”. Мы влюбились. В аудитории сидели одни девушки. Ты с нами не заигрывал, не шутил, не демонстрировал свое блистательное чувство юмора. Мне снова мерещилась надменность, которая меня в тебе пугала. Но как только ты вошел в аудиторию, мне показалось, что между нами есть какая-то особая тайная связь. А как же, ведь была история с моим текстом про молодежную культуру. И я ходила на премьеру твоего спектакля и видела тебя с раскрашенным лицом в роли живого трупа. И у нас столько общих знакомых. И все-таки ты оглянулся тогда на Фонтанке и увидел, что я тоже оглянулась.

Ты вспоминал, как я, будучи старостой курса, положила перед тобой на стол журнал и показала пальцем с обкусанным ногтем, где надо расписаться. Я это тоже помню. Ноготь был страшный – я не приучена была делать маникюр и очень стеснялась своих неухоженных рук.

– Но я была красивая? Я тебе нравилась? – спрашивала я.

– Ты дико кокетничала. Накручивала волосы на палец и строила глазки. Я старался на тебя не смотреть, потому что не мог сосредоточиться.

А я смотрела на тебя не отрываясь.

3 апреля 2013

Иванчик! Сегодня вспоминала, как Трофим, Миша Трофименков, рассказывал, что это он меня тебе подарил.

Так и было – задолго до того, как начался наш с тобой роман.

Однажды Трофим сказал, что ты мной всегда восхищаешься, поэтому можно выкинуть милую глупую шутку – перевязать меня ленточкой и привести к тебе на день рождения. Как подарок. Я открыла рот. Добротворский? Восхищается? Мной? Шутишь? Да он меня всегда презирал! Но сказано – сделано. Трофим привез меня в квартиру на Наличной. У тебя горели глаза, от тебя било током (не знаю, были ты пьян или что-то другое). Ты устроил из трофимовского подарка целый спектакль, весь вечер хватал меня за руку и подводил к кучкам знакомых и незнакомых людей:

– Это Карина, мне ее подарили. Она теперь моя. Правда, красивая?

Помню, что там была твоя жена Катя, которая громко смеялась и подыгрывала тебе. Не думаю, что ей на самом деле было смешно.

Потом еще год или два, где бы мы с тобой ни встречались, ты в шутку говорил:

– Это моя девчонка! Мне ее подарили.

4 апреля 2013

Как мы в первый раз поцеловались? Мы были совсем пьяные. В начале нашего романа мы всё время были пьяные, иначе нам не удалось бы разрушить столько барьеров сразу и так отчаянно кинуться друг к другу. Алкоголь был нашим эликсиром храбрости, который мы жадно лакали, как Трусливый Лев из “Волшебника Изумрудного города”. Не помню, где и как мы в тот день начали пить. Не помню, что именно мы пили – наверняка какую-то гадость, а что еще все мы тогда пили? Кажется, уже наступили времена спирта “Рояль” в огромных бутылках, из которого что только не делали – от клюквенной настойки до яичного ликера. Чуть позже в каждом киоске можно было купить ликер “Амаретто”. Не уверена, что существовала хотя бы еще одна страна, в которой этот приторный липкий напиток пили литрами и закусывали соленым огурцом.

В тот день мы оказались одни в квартире твоего приятеля. Что пили, обычно не запоминаю. А вот как я была одета – не забываю никогда. На мне была длинная косого кроя черная юбка из жесткого жатого хлопка, широченный черный пояс

стягивал несуществующую талию, белая хлопковая блузка в мелкий черный горошек – всю эту красоту я привезла из Польши, куда ездила по студенческому обмену. Заграничная роскошь, пусть и социалистического происхождения. Одна из твоих лучших статей называлась “Заграница, которую мы потеряли” и была посвящена образу Запада, созданному советским кино, “секретной республике, населенной прибалтийскими актерами и польскими актрисами”. В ней ты оплакал Лондон, снятый во Львове, и Вильнюс, загримированный под Берлин, пачки “Мальборо”, набитые “Космосом”, американских конгрессменов в чешских галстуках, влюбчивых парижанок в пальто из кожзаменителя и баночное пиво, которое редко открывали в кадре, потому что всей группой открывали еще до съемки...

Туфли на мне были тоже заграничные, югославские. Мои единственные нарядные туфли (мама называла их “модельными”) – из черной блестящей кожи, узкие, с вырезанным носочком, без каблука (румынские туфли на каблуках лежали у мамы в коробке под кроватью, я тайно надела их один раз, покоцала каблуки и была жестоко отругана). Эти югославские туфли были мне малы на два размера – я купила их у маминой подруги, вернувшейся из загранпоездки. Туфель моего сорокового размера тогда и вовсе не существовало, но невозможно же было из-за такой ерунды, как размер, отказаться от подобной красоты! Я вечно чувствовала себя сестрой Золушки, прихрамывающей в чужом башмач-

ке. Как и многие советские девушки, я изуродовала ступни неправильной тесной обувью. Может быть, поэтому я сейчас скупаю туфли всех цветов и форм, выстраиваю их стройными рядами и счастлива от одного сознания, что они у меня есть. Сорокового, сорокового с половиной и даже сорок первого размера!

Мы стояли на кухне, я опиралась на подоконник. Ты был ниже меня ростом и смотрел на меня восторженно и в то же время отстраненно. Дотронулся до моих длинных волос – как будто проверял, из чего они сделаны. Положил руки мне на грудь – так осторожно, словно грудь была хрустальная. Стал очень медленно расстегивать блузку. Под ней был белый кружевной открытый бюстгальтер, который тогда называли “Анжеликой” – такая специальная модель, высоко поднимавшая грудь, купленная где-то по случаю за бешеные деньги – 25 рублей. В нем моя и без того не маленькая грудь казалась какой-то совсем порнографической – и одновременно почти произведением искусства. Я опустила глаза и посмотрела на нее как будто твоим взглядом. И, кажется, впервые ощутила, что грудь у меня и в самом деле красивая. У меня коленки дрожали и внизу живота всё сжималось до острой боли – я не помню более эротического момента в моей жизни. Ты аккуратно и сосредоточенно накрыл ладонями обе груди и произнес, почти как заклинание:

– Это всё слишком для меня, слишком.

Едва прикасаясь губами, ты поцеловал меня в каждую

грудь несколько раз – тебе почти не пришлось наклоняться. Я стояла неподвижно. Не помню даже, подняла ли я руки, чтобы тебя обнять. По-моему, нет. Спросила:

– Что – слишком?

– Ты – слишком. Слишком красивая. Эта грудь. Эта кожа. Эти глаза. Эти волосы. Неужели это всё для меня?

И еще ты спросил:

– У тебя ведь есть кто-то, кому это принадлежит, да?

Секса у нас с тобой в тот день не было, да и не могло быть, потому что – ты был прав – я по-прежнему принадлежала бородатому философу, которого все называли Марковичем. Он, кстати, приехал в тот день и по-хозяйски увел меня, всё еще дрожащую изнутри от твоих касаний. Эти бережные прикосновения ко мне, как к драгоценному объекту, как к кукле наследника Тутти, я никогда не забуду. Больше никто меня так не трогал.

И даже ты больше никогда так не трогал.

5 апреля 2013

Иванчик, я, кажется, влюбилась. Чувствую себя как будто пьяной – из-за совсем юного парня. Написала “юный” и улыбнулась. Ничего себе юный – тридцать три года, больше, чем было тебе на момент нашего романа. Он на тринадцать лет младше меня, поэтому я и воспринимаю его как мальчика.

Ты сейчас сказал бы:

– Иванчик, ну ты совсем пошел вразнос!

Я знаю, знаю. Знаю я, что бы ты сказал. Что все скажут. Гормональное. Материнское. Что там еще... Ну да, конечно. Так и вижу, как выстроились в ряд увядающие истерички с проблемами в нижнем отсеке, как выразилась бы Рената Литвинова. Со сниженными эстрогенами и со своими игрушечными мальчиками. Но мой мальчик бы тебе понравился. Ты любил тех, в ком чувствовал чистоту, уязвимость, застенчивость, робость. Ты любил красивых людей, а он красивый. Хотя, может быть, я просто смотрю на него сквозь любовные линзы.

“Они дали фильму нечто большее, чем жизнь. Они дали

ему стиль”, – так ты писал про ослепительно красивых героев “Человека-амфибии”.

За стиль ты многое готов был простить. И я тоже. Все-таки я у тебя училась.

Мой юноша чем-то напоминает мне тебя, хотя ты был маленьким, легким и грациозным – в Америке тебя иногда принимали за Барышникова. А он – высоченный, под два метра, слегка неловкий, неповоротливый, с сорок пятым размером ноги. Но в его тонко вырезанных чертах и размыто-светлых глазах есть что-то твое. Какая-то тоска, легкая безуминка. Во взгляде нет твоей грустной мудрости, но есть отчаяние, как у Дворжецкого в роли Хлудова. И его тоже зовут Сережа. (Ну прямо Анна Каренина в бреду: “...какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?”)

Снова Сережа. Никогда не любила это имя.

Сережа – программист, совсем не интеллектual. Слегка аутичный, как многие компьютерщики. Как я могла влюбиться в человека, который спрашивает: “А кто такой Джойс?” или “Что написал Флобер?” Не слышал про “Доктора Калигари”, не отличает Фассбиндера от Фассбендера. Без иронии произносит слово “творчество”, желает на ночь счастливых снов и пишет романтические эсэмэски про снежинки, пляшущие в лунном свете. Он тоже страстно любит кино. Но часто смотрит какие-то комедийные американские и британские сериалы, которые меня ничуть не увлекают.

Мне всегда казалось, что самое сексуальное в мужчине –

ум. А тут... Нет, не то, что можно было бы подумать. Я влюбилась во что-то другое, хотя его системные мозги устроены занятно, совсем не так, как у меня (у нас с тобой). Мне трудно произносить слово “душа” без кавычек, но тут что-то явно без кавычек.

Ты наверняка спросил бы:

– Господи, где ты такого отыскала-то?

Почти служебный роман. Он родился в Москве, но вырос и жил в Южной Африке, у черта на куличках, потом вернулся в Россию, работал у нас в издательском доме. Я его замечала краем глаза, но не краем сердца – симпатичный, высокий, с чуть раскосыми глазами и всегда застенчивой улыбкой. А зимой, когда я уже готовилась к отъезду в Париж, Сережа пришел ко мне домой, чтобы сказать, что он возвращается в свою Африку – ну не получается существовать в Москве. Солнца не хватает, счастья не хватает, ничего не хватает. Держал в руках пакет с прустовскими мадленками из ближайшей пекарни (он, скорей всего, не знал, что они называются мадленки, и тем более не знал, при чем тут Пруст). Я уже не жила с Лешей и находилась в состоянии транзита – впереди новая работа, новая страна, новая свобода. Так почему бы нет? Я вот-вот уеду, он вот-вот уедет, мы больше никогда не увидимся, что я теряю? Он такой красивый.

Я слышу твой голос:

– Ладно, колись, самое страшное уже было?

О, эти наши словечки! Самое страшное – это секс. “Самое

страшное было?” Так девчонки-старшеклассницы шепотом спрашивали друг дружку. А самое главное – это любовь. В школе самое страшное считалось возможным только после того, как Он сказал самое главное.

Самое страшное было, да. Мы оба очень много выпили, иначе бы, наверное, не решились. Слишком много преград – возрастных, интеллектуальных, эмоциональных, социальных. Мы сидели в моей московской гостиной и говорили уже часа четыре. Наконец он взял меня за руку – с каким-то трагическим выдохом, почти обреченно. Я притянула его голову к себе и поцеловала в губы. Он сказал:

– Я это хотел сделать с того момента, как впервые увидел тебя много лет назад на площадке у лифта.

Он весь дрожал – больше от страха, чем от желания.

Знаю, что я сентиментальная дура, но меня это тронуло. Я ответила:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.